

Под образком святым.
Здесь душа
С душой говорит,
Этот мир с иным.

Здесь обручаются
Две души.
И даже пройдут года
Будут едины
В другой тиши,
Будут едины всегда.

Здесь тихие звуки.
Молебен идет,
Взор устремлен в небеса.
Здесь Бог тебе
Надежду дает
И жизнь, как чудеса.

Здесь свечи горят
За упокой.
Здесь не властны года.
Душу свою здесь
Богу открой
И сам загляни туда.

О. ПАНОВ

“Восточный экспресс” в бокале с двойным дном

Стамбул, Pera Palace, 1932 год.
В зале бара, наполненном ароматом кальвадоса и табака, царило изящное затмение рассудка.
Где-то за окном, во мраке, Босфор вздыхал, словно старый контрабандист в маске Димитроса, прячущий опиум в трюме.
Но внутри – по-настоящему великосветский хаос.
Агата Кристи сидела у окна, задумчиво помешивая в бокале виски.
Она смотрела на человека в центре зала – Гастона д’Арси, француза с непроизносимой фамилией и выражением лица, будто он уже написал роман, который никто не осмелится прочесть. – Что он делает? – спросила она у Греты Гарбо, чей голос напоминал бархатную отраву. – Испытывает предел человеческих возможностей, – ответила Гарбо, лениво роняя пепел в серебряную пепельницу.
Д’Арси творил алкогольную алхимию. Он смешивал коктейли со своей судьбой, проглатывая строчку за строчкой барного евангелия, как безумный переписчик, одержимый священным текстом. – Если бы он шёл сверху вниз, он давно бы свалился, – прокомментировал Эрнест Хемингуэй, сжимая в кулаке стакан с ромом, словно рукоять гарпуна. – Но снизу вверх... Чёрт возьми, это как ловить льва за хвост, стоя над пропастью.
Бармен, жрец коктейльного алтаря, пролистывал меню, словно читал предсмертную исповедь.

– Господин д’Арси, – пробормотал он, – следующий коктейль... – Не называйте его! – перебил Альфред Хичкок, деля знак официанту убрать шейкер. – Пусть напиток сам войдёт в сценарий его судьбы. – Знаете, – вдруг произнесла Гарбо, стряхивая пепел, – в Цистернах сейчас должно быть особенно тихо... – В такой час там всегда тихо, – отозвался Хемингуэй. – Только капли считают века. – И головы Медуз, – улыбнулась Кристи. – Говорят, если смотреть на них достаточно долго... Не договаривайте, – перебил д’Арси, поднимая очередной бокал. – У каждой легенды должна быть своя тайна. Как у каждого яда – свой антидот. В этот момент дверь с грохотом распахнулась. Где-то в глубине подземных цистерн дрогнула каменная Медуза, словно почувствовав приближение своего повелителя. Вошёл Мустафа Кемаль Ататюрк – босфорский император, чей костюм сидел на нём лучше, чем турецкая республика. Он оглядел зал с выражением человека, знающего, что именно он правит миром, но пока скрывает это из вежливости.

Он усмехнулся, наблюдая за Гастоном, который уже перевалил за середину списка. – Д’Арси, – сказал он, садясь напротив. – Ты вот-вот упадёшь и не допьёшь весь этот бар, мои янычары уже штурмуют крепость: без колебаний, без пути назад и, возможно, без надежды на утро. – Этот бар – не цитадель Афьонкарахисар, Мустафа, – медленно ответил Гастон, покачивая в бокале остатки “Кровавой Мэри”.

Ататюрк скептически оглядел его: – Скорее Босфор повернёт вспять, чем ты допьёшь весь этот список. – Он аккуратно поправил свой монокль. Д’Арси усмехнулся, глядя на него так, как смотрят на проигравшего в шахматы короля. – Скорее ваш монокль, эфенди, утонет в этом хайболе, чем я упаду. Хотя бы потому, что не существует конечной станции там, где рельсы нарисованы прямо по небу. Как на пиру Валтасара. Кристи удивлённо подняла бровь. – Ах, вот оно что. Откуда, граф, вам известна фабула моего будущего романа? Я только сегодня начала обдумывать его сюжет. Д’Арси посмотрел на неё с лёгким сожалением, как смотрят на человека, которому ещё только предстоит узнать, что именно было в том таинственном конверте на ночном столике у постояльца из купе № 7. – Мадам, – произнёс он, – Речь о моём романе. Он, впрочем, как и ваш, ещё не опубликован, но уже разошёлся десятикратным тиражом. – Так не бывает, – возразила она. – Ещё как бывает. Особенно если это первый в истории мультимедийный перформанс “Пешком от мыса Доброй Надежды в Колыму”. С XI века до н.э. вплоть до XXI. – Впрочем, my charming Agatha, не переживайте, – добавил граф с лёгкой улыбкой. – Ваш “Восточный экспресс” тоже всех переживёт, не только вас. И не только он. Кристи замолчала. Она начала подозревать, что граф это не просто граф, а его рассказ не просто литературный проект. Скорее уж инструкция по выживанию, зашифрованная в рукописи, которую графу ещё предстоит найти в Месопотамии где-то в конце VIII века. Д’Арси допил свой коктейль и посмотрел на бармена. – Я не могу знать финал... – сказал он. – Но разве кто-нибудь когда-нибудь знал, где этот финал?

В этот момент что-то щёлкнуло. Бармен с ужасом едва не уронил бутылку. Последний коктейль был выпит.

Всё замерло. – И что теперь? – тихо спросила Гарбо. Д'Арси медленно поднялся. Оглядел собравшихся. И встал.

Против всех ожиданий – он не упал, не покачнулся, даже не моргнул. – Теперь, – сказал он, одним движением поджигая свою Cohiba и закручивая сюжет реальности в спираль, – я отправляюсь на перрон.

Поезд уже тронулся, господа пристяжные завсегдагаи!

Где-то вдалеке свистнул Восточный экспресс, но, возможно, это был не свист, а шёпот Медузы, замершей в мраморных Цистернах.

А может, просто тот самый ёжик продолжал свой путь в тумане – упрямый, безразличный к судьбе, ведомый одной ему известной дорогой.

Только теперь туман рассеивался, и впереди впервые показались рельсы.

Пиаф

Париж, декабрь 1960-го. Холод уныло, но упорно грыз мостовые, зато в «Олимпии» – духота, дым, потные ладони аплодисментов. Ожидание. Слишком много ожидания для одного вечера. Зал набит. Политики, их жёны, их любовницы. Художники в поисках вдохновения. Модники, зевающие от вчерашнего кокаина. Всем им кажется, что они пришли посмотреть концерт. Наивные.

Я стоял за кулисами, попыхивая сигарой. Третьей за вечер? Четвёртой? Впрочем...

Пиаф. Маленькая женщина с огромной пустотой внутри. Тело – хрупкое, почти детское. Лицо – географическая карта боли. Но глаза – о, эти глаза пылали. Как и двадцать лет назад, когда я случайно забрёл в тот кабак на Монмартре. Хотя нет, тогда она ещё не была такой... высохшей. Выжженной.

«Вы не понимаете, что это за песня», — огрызнулась она на Дюмона. Тот всё мямлил про свои сомнения. Я подслушал их случайно. Хотя, возможно, и нарочно. «Это не мелодия, это мой суд над собой, где я – и палач, и помилованная».

Когда она вышла на сцену, зал заткнулся. Так затихают, когда видят обнажённый нерв. Тишина. Странная, плотная. А потом – «Non, rien de rien, non, je ne regrette rien...»

Это не пение. Это... А, к чёрту определение! Женщина, которую жизнь использовала, как половую тряпку, стояла там и дерзко заявляла, что ни о чём не жалеет.

Вы видели когда-нибудь алжирского дипломата в замешательстве? Я – да. Третий ряд, крайнее место. Его лицо – гранит, внезапно треснувший. Позже он пробормотал что-то про смелость. Банально. Но искренне.

Легионеры... Потом легионеры сделали эту песню своим гимном. Логично. У них тоже не было пути назад.

А вот и немец. Рядом со мной. Нарочито-аккуратный, с глазами мёртвой шуки. Из тех, что сортируют даже свои сны по алфавиту.

«До чего докатились», – цедит он пастору с лицом печёного яблока. «Какие ужасные песни нынче в моде».

Я обычно не встречаю. Не моё дело. Но тут...

«Вы ошибаетесь, мой друг. Эта певица переживёт века, а вас, боюсь, забудут ещё до того, как высохнут чернила в вашем некрологе».

Немец посмотрел на меня, как на таракана в супе. Испарился. И тут я заметил – круглолицый парень, дешёвый костюм, блокнот. Строчит, как пишущая машинка. Каждое моё слово – в строчку. Странно.

Я кивнул маркизу де Л. Вопрос без слов.

«Ляндрес», – шепнул тот в бокал. «Советский журналист. Собирает объедки с нашего стола – для своей серой прессы».

Забавно. Мои слова о некрологах – в заголовок «Правды»? «Буржуазный цинизм как последняя стадия капитализма». Что-то в этом роде.

Спустя годы я наткнулся на роман Семёнова – тот самый Ляндрес, оказывается. «Семнадцать мгновений весны». И там его Штирлиц говорит – слово в слово – мою фразу про певицу, века и некролог.

Вот так. Моё случайное раздражение стало частью советского шпионского мифа. Слова живут своей жизнью, когда вылетают изо рта.

Дюмон и Вокер... Да, Дюмон и Вокер. Они думали, что написали шансон. Наивные. Они создали манифест. А Пиаф вдохнула в него жизнь — свою собственную, растраченную по кабакам и постелям. «Я сметаю прошлое рукой...»

И ведь веришь ей, чёрт возьми! Этот голос не имитировать. Эту дрожь не подделать.

Я стоял в тени, вдыхая дым и духи. Думал – вот оно, настоящее. Не ноги, не слова. Акт создания себя из ничего. Она не пела – она рождалась заново. Из пепла.

«С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь...»

Не обещание. Факт.

Занавес упал, аплодисменты. Все эти люди хлопали, не понимая, что это им аплодировали.

Я вышел. Закурил ещё одну. Утомительно быть свидетелем чужого величия.

Теперь эту песню крутят в магазинах. В рекламе духов. В романтических комедиях, где герои не знают, что такое боль. Иногда я слышу её в такси. Водители подпевают, не понимая ни слова. Но я был там. Я видел это чудо – воробышек (да, ведь «Piaf» так и переводится, забавно) – смотрел прямо в глаза судьбе и говорил: «Отвали. Ты мне ничего не сделаешь».

Если через сто лет кто-то услышит в этих нотах хоть отголосок того вечера — значит, она победила время. Бессмертие – это не когда о тебе помнят. Это когда твой голос продолжает говорить с ещё не родившимися.

Граф Гастон Д'Арси, Париж, декабрь 1960, где-то между дымом и отчаянием. Или надеждой? Впрочем, какая разница.